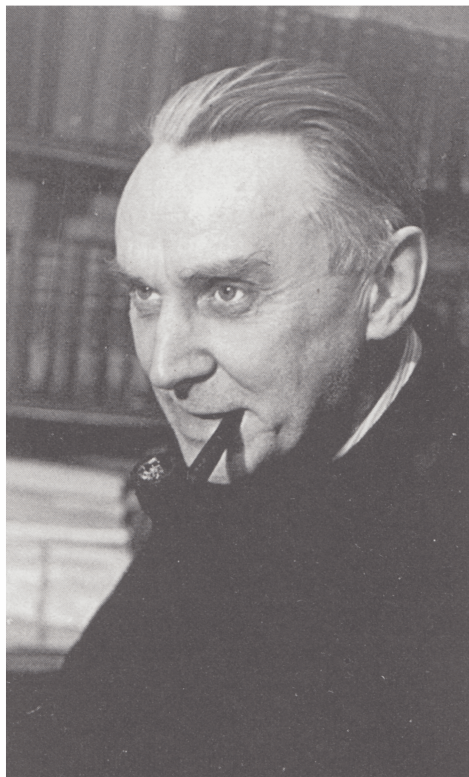


БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



Конст. Федин

Наровчатская хроника

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТЕРРА»
КНИЖНЫЙ КЛУБ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Издается с 1925 года

КОНСТ. ФЕДИН

НАРОВЧАТСКАЯ
ХРОНИКА



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»
Москва — 2008

ОБ АВТОРЕ

В истории русской литературы XX в. имя Константина Федина (1892—1977) занимает особое место. Буквально ворвавшись в молодую советскую литературу 1920-х гг. своими первыми рассказами, повестями, романами, Федин оставался в 1930—1960-е гг. одним из самых читаемых писателей в Советском Союзе. Он закончил свою долгую жизнь отмеченный всеми возможными наградами страны, увенчанный лаврами признанного классика. Увы, в этом абсолютном, официальном признании Федина в позднюю советскую эпоху, по-видимому, и кроется причина того, что имя писателя ныне оказалось почти забытым. Нет сомнения, что творчество Федина — писателя очень разного и несомненно талантливого — еще ждет своей объективной оценки...

Мы надеемся возродить читательский интерес к лучшим произведениям Федина, печатая одну из его ранних повестей. В 1920-е гг. «Наровчатская хроника» (1925) была с воодушевлением воспринята широким читателем и единодушно одобрена собратями по перу — членами литературного кружка «Серапионовы братья» (в этот кружок помимо Федина входили И. А. Груздев, М. М. Зощенко, В. В. Иванов, В. А. Зильбер (Вениамин Каверин), Л. Н. Лунц, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов). Написанная легко, свободно, с чувством тонкого юмора и доброй иронии, эта повесть демонстрирует незаурядное писательское дарование молодого Федина.

Уважаемые читатели!

Ваши отзывы и предложения отправляйте по адресу
bibl@kkterra.ru

- © Издательский дом «Огонек»,
внешнее оформление, 2008
- © Терра—Книжный клуб, 2008

НАРОВЧАТСКАЯ ХРОНИКА

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Я мог бы начать без обычного для духовных лиц вступления, потому что владею светской речью, даже обладаю некоторым даром слова, отмеченным много раз моим драгоценным учителем и настоятелем нашего во имя св. апостола Симона Канонита монастыря — отцом Рафаилом. Но именно из уважения к нему я и почел недостойным скрывать свое послушническое звание. Образованностью духовной, как равно и знакомством со светскими сочинениями, я обязан исключительно заботливой приязни ко мне отца Рафаила, и да будет совесть моя чиста упоминанием его благочестивого имени в начале этой хроники — малоискусной, но правдивой в меру моего добросердечного намерения. Аминь.

Во мне, несомненно, заложен некий дар слога. Например, я почувствовал, что последняя фраза вступления получилась витиеватой, не говоря уже о ее длине. Это я объясняю тем, что начал с Божественных слов, которые и обозначили собою дальнейшие обороты. В самом деле, если со вниманием присмотреться к духовной речи, то она всегда сложна в своих фигурах. Я же — повторяю — имею склонность к светскому стилю и в писаниях это постоянно с охотой обнаруживаю. Отец Рафаил, прочитав однажды письмо, составленное мною по его поручению, сказал мне буквально:

— Игнагий, письмо хорошо, но послать его невозможно: таких взволнованных речей иеромонах подписать не должен. Тебе, видно, очень понравился Федор Михайлович Достоевский?

Я тогда только потупился и ничего не ответил. Действительно, Федор Михайлович Достоевский мне очень нравится.

К слову, запишу сейчас один случай, который может дать представление о нашем городе и о культурной степени наиболее образованных его жителей. Этим случаем я воспользуюсь также, чтобы сказать о причинах, толкнувших меня писать настоящую хронику.

Не так давно поутру ко мне прибежал поэт Антип Грустный, очень растрепанный и осиянный. Не в силах от бега выговорить ни слова, лишь заикаясь, он развернул дрожащими руками пакетик и бросил на подоконник, где я чай пил, книжку.

— Вот, — превозмог он наконец волнение, — вот какие теперь на Руси книги печатают! Всю ночь читал напролет, не попив чаю, бросился к тебе. Смотри, Игнатий, велика талантами сила народная, верю, верю, распустится теперь Россия, как шиповная роза, говорил тебе! Читай скорей эту книгу, здесь все как про нас написано: истинная правда, униженные мы и оскорбленные! Я даже критическую статейку черкнул, обязательно нужно отметить. Послушай-ка...

— Обожди, — говорю я, — ведь это — старая книга...

— С ума ты спятил! — восклицает Антип Грустный — Гляди: Народный комиссариат по просвещению, тысяча девятьсот девятнадцатый год — Что же из того, книга все-таки известная...

— Это, — кричит, — сочинитель, автор известен, что ты меня учишь, я знаю, а «Униженные и оскорбленные» — его новое произведение, я и статейку черкнул для газеты. Народный комиссариат по просвещению не станет...

Я дал Антипу Грустному успокоиться, потом обещал отыскать в книгохранилище описание смерти и отпевания покойного замечательного писателя. Антип Грустный ушел рассерженный, даже не прикоснувшись к чаю, который я налил для него в кружку. Думаю, что он в тот день так ничего и не поел.

Все-таки, несмотря на описанный случай, Антип Грустный — один из просвещенных людей нашего города. Но о нем, может быть, придется сказать впоследствии.

Размышляя о причинах, побудивших меня вести хронику, я прежде всего вижу, сколь худосочна образованность наша, чтобы уразуметь значение ежечасно свершающихся событий. Кто в нашем городе достоин был бы звания летописца? Разве один только человек мог бы передать поколению свидетельство дней наших грозных, подобных Страшному суду Господню, — фельетонный писатель Симфориан Беспольный. Но этот человек обуюн жестокой страстью к вину и не может явить прилежания, необходимого летописцу. Все же, что он печатает в газете, подвержено тлению ввиду негодного качества печатной бумаги. Вообще, когда я задумываюсь о судьбе отечественного нашего печатания, мне вчуже становится ужасно за нее, и вновь я укрепляюсь во мнении, что временно история будет запечатлеваться рукописно. Здесь уместно сказать о недавнем

происшествии в нашем монастырском книгохранилище, которое со смертью отца Антония передано временно моему наблюдению.

В новом нашем корпусе светские власти разместили детскую больницу, приют, называемый интернатом, и другие культурные заведения. Ввиду большой нужды в помещениях монастырю было приказано очистить книгохранилище. Будучи очень стесненной, братия перенесла книги на чердак старого корпуса. Там они лежат до сего дня в беспорядочном виде, так что проникнуть на чердак затруднительно. Не могу умолчать о замечательном составе нашего книгохранилища как в отношении подбора сочинений духовных, по истории церквей и расколов, так и некоторых светских, национально-русских писателей, и особенно рукописных древних книг — приходо-расходных нашего монастыря от начала семнадцатого века, челобитных рукописей, грамот, указов и крепостей. Эти исторические драгоценности по совету отца Рафаила я укрыл книгами менее редкими, поверх которых наложил «Епархиальные ведомости» и прочие газеты. Ныне монастырь выписывает «Наровчатскую правду» для осведомленности в делах духовных, столь усложненных в наше время. Газету я клал на «Епархиальные ведомости», у самого входа на чердак, чтобы постоянно иметь под рукой. И вот недели полторы назад разразился над Наровчатом ливень такой силы, что вышла из берегов речка Гордата и поник на полях хлеб. Когда на другой день я зашел на чердак, чтобы присоединить к газетам новый выпуск, я обнаружил, что через незаметное для глаза отверстие в крыше, как раз над пачкою «Наровчатской правды», налилась изрядная лужа дождевой воды. Я тут же извлек с чердака промокшие газеты и — так как стояла тихая солнечная погода — разложил их со тщанием на крыше, устлав ее всю, от куполка придела во имя св. первоапостольных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы до малой звонницы.

В этот день понадобилось отцу Рафаилу послать меня по важному делу в город. Монастырь наш расположен в трех верстах от городской заставы, так что — за мирскими хлопотами — обернулся я только часа через два. Возвращаясь, на полпути заметил я позади себя тучку, и сейчас же потянуло из города ветерком. Тут меня пронизала мысль о разложенных на крыше газетах. Стал я торопиться; прибавлю шагу, а ветер мне в спину все сильнее и сильнее. Совсем на виду у монастырских ворот сорвало с меня скуфейку, покатила она по дороге, догнал я ее, остановился передохнуть, взглянул на монастырь, а над его куполами крутятся, подобно белым голубям, газетные листы. Кинулся я со всех ног. Вбежал во двор — двор пустой; бросился в корпус — там точно все вымерло. Тогда,

припомнив направление ветра, помчался я к задней дворовой калитке, ведущей из монастыря на луговину перед речкой. Но едва я добежал до стены, как остановился в недоумении и страхе: у калитки стоял отец Рафаил, приоткрыв ее немного и глядя в щель. Вероятно, настоятель расслышал шум, поднятый моим бегом, потому что оторвался от щели и, осмотрев меня, поманил пальцем. Я подошел к благословию ни жив ни мертв. Он стукнул меня чувствительно костяшками пальцев по лбу и сказал.

— Смотри, Игнатий, в какое недостойное положение поверг ты братию своим недомыслием.

Я в трепете наклонился и припал к щели пониже бороды отца Рафаила. На луговине, еще не скошенной, по колена в запутанных дождем травах, кидалась из стороны в сторону почти вся наша братия, стараясь изловить носимые ветром газеты. Многие были в подрясниках, подоткнутых за пояса, другие не успели одеться и сгали по лугу в штанах и с непокрытыми головами. Газеты сдувало к речке, догонять их по траве было делом нелегким, братия же наша к быстроте движений не привыкла и обнаруживала ловкость куда как невеликую.

Смотреть на картину эту становилось воистину соблазном, и едва я различил над своей головою учащенное сопение отца Рафаила, как покатился в бессовестном смехе, присев на корточки. Отец настоятель вторил мне баском, что еще больше разжигало мою веселость; когда же я, от рези в животе, начал стихать, он опять стукнул меня по лбу и проговорил:

— Дурак ты, Игнатий, прости господи!

И благословил меня.

К сожалению, смех мой сменился скорбью тотчас, как братия принесла изловленные на лугу газеты: все листки оказались совершенно белыми, как будто на бумаге ничего и никогда не было напечатано. Одно слово можно было кое-как разобрать — слово «правда», крупными буквами, а от текста оставалась лишь смутная сероватость: пока газеты сушились на крыше, солнце выжгло на них все без остатка. Симфориян Беспольный объяснил такое явление плохим составом употребляемых для печатания красок, в монастыре же усматривали в событии некое знамение, и мне приказано хранить «Наровчатскую правду» отдельно от духовных книг. Действительно, статьи в газете богохульны...

Известная склонность моя к миру и умение обращаться среди разных лиц побуждают отца Рафаила прибегать постоянно к моему посредству в сношении с городскими властями и сведущими людьми. Вследствие этого мне доводится многое наблюдать из нравов нашего города и нередко при-

носить полезное монастырю. Так, узнав недавно от земельного комиссара Роктова о намерении изъять из нашего хозяйства племенного быка для национализации, я успел уведомить об этом отца эконома. На городском пожарном дворе опростали нашему бычку подходящий хлевок, но к тому времени, с благословенья отца Рафаила, мясо бычка мы частью продали, а частью обратили в солонину. Новое разорение пострадавшего монастыря нашего было предотвращено, после чего у братии за мною укрепилось звание «предотвратителя», в котором я продолжаю состоять донныне.

Думаю, что вступительное к хронике объяснение вполне достаточно. Если рукописи моей суждено попасть в руки историка, ему ничего не нужно будет от меня, кроме фактов. К фактам я и перехожу, сделав еще одно краткое напутствие: имена города и реки, на которой лежит монастырь, а равно некоторых должностных лиц мною измышлены. Город я назвал Наровчатом в память родины моей покойной матушки. Остальное переменял из желания беспристрастности, требуемой от летописца, а также ради верности писательскому обычаю.

Сегодня явился в детский интернат бывший кладбищенский дьякон Истукарий, состоящий на службе в отделе записей актов гражданского состояния. Страшен вид этого человека! Остригся, в курточке, портсигар из карельской березы. Зашел к отцу Рафаилу

— Худо, — говорит, — вам, отец, без специальности. У белого духовенства в наше время есть выход: рождения и браки совершаются помимо революции, смертей даже прибавилось. Закроют монастыри — куда денетесь? Клубок-то небось давит?

— Ничего, — смиренно возразил отец Рафаил, — привычка.

— Не одобряю. Косность, — сказал Истукарий.

Из губернии прибыли новый председатель и секретарь Наровчатского Совета. Видел их переходящими улицу около Народного сада (бывший увеселительный сад «Эльдорадо»). Председатель необычайной худобы и как бы прозрачен. Покашливает, щурит глаза, вероятно по близорукости, а очень может быть — притворяется. Но в матросской форме и шагает с бойкостью. Рядом с ним — секретарь, невелик, довольно упитан, с лица бел, приятен и весьма юн. Картуз студенческий, полинялый. Походка не строгая.

Я размышлял над словом отца игумена — привычка. Короткое, но роковое слово! До чего сильна над человеком власть привычки! И тут я невольно подумал о нашем Пушкине. Пережив все потрясения эпохи, он

по-прежнему свершает предначертания своей таинственной судьбы. Может ли он отказаться от иллюзии, руководящей его жизнью? Но, впрочем, опишу эту примечательную жизнь подробнее.

Вот уже много лет в нашем городе проживает некий Афанасий Сергеевич Пушкин, родом из крестьян, окончивший городское четырехклассное училище. Более обстоятельно о его биографии ничего не известно. Прибыл он в Наровчат бог знает откуда, уже со свидетельством об окончании училища и не в очень молодых годах, после чего получил место в конторе товарной станции, где писал накладные на железнодорожные грузы. Всю жизнь Афанасий Сергеевич отличался аккуратностью по службе, занимаясь в маленьком чуланчике с окошечком, рядом со станционным весовщиком. В служебное время, с утра до вечера, Афанасий Сергеевич оставался в своем чуланчике для постороннего глаза невидим, разве только просунет кто-нибудь в окошечко руку, чтобы показать, что вот, мол, на дубликате накладной не разберешь: четыре копейки городского сбора или семь? Между тем поглядеть на Афанасия Сергеевича прямо поучительно, и это вполне всем доступно, но только в другой час дня.

Если бывают на свете так называемые шутки природы, то надо подивиться жестокости, с какой иной раз такие шутки природой совершаются. Для чего понадобилось натуре воспроизвести в лице описанного крестьянина с городским четырехклассным образованием с полной близостью покойного поэта Александра Сергеевича Пушкина? Какому неразумному случаю обязан этот человек тем, что, помимо точного сходства с знаменитым писателем, он по законной выписи из метрической книги оказался обладателем и самого прославленного имени? Но натура вступила в заговор со слепым случаем, и шутка свершена: в городе Наровчате, почти век спустя после смерти А. С. Пушкина, живет новый А. С. Пушкин.

Похож он на настоящего Пушкина воистину разительно. Невысокого роста, плотного сложения, курчав и темно-рус, почти черен, носит бакенбарды, рябоват, особенно на носу в крупных оспинах, но не безобразных, нос немного приплюснут, и губы оттопырены. Кто хоть плохо вспоминает портрет поэта Пушкина, тот не может не содрогнуться при взгляде на его наровчатское повторение.

Однако вся особенность такого случая прошла бы, вероятно, мало замеченной, когда сам Афанасий Сергеевич не обнаруживал бы ее со рвением и неослабным постоянством.

Живет он в доме Вакурова в полном уединении. Вакуров — помещик нашего уезда, — будучи воодушевлен идеей о том, что Наровчату предначертано стать своего рода российским Чикаго, вознамерился положить

начало новому градостроительству. Для этой цели он соорудил на полдороге от города к товарной станции великую громаду в четыре этажа — высота, невиданная в наших местах. Планы писали к этому дому отечественные строители, почему лестницы были приложены по завершении постройки со стороны заднего фасада, снаружи. В длину всего дома тянутся широкие чугунные площадки, на которые выходит множество дверей. Окон с этой стороны строения вовсе нет, отчего оно напоминает хлебный амбар. Любопытно наблюдать, как по чугунным лестницам и площадкам взбираются и ползают жители редкостного здания. Избрав для строения пустырь между городом и товарной станцией, помещик Вакуров доказывал неизбежность распространения Наровчата к железной дороге, где и должен был возникнуть российский Чикаго. Но за десять лет никаких построек здесь не появилось, а пустырь был отдан в аренду под бахчу. Помещик Вакуров объявил себя несостоятельным должником, после чего скончался, а сооружение его возвышается по сей день в величественном одиночестве, вызывая изумление приезжих людей.

Именно в доме Вакурова, на верхнем этаже, с краю, и здравствует Афанасий Сергеевич. Пребывая, кроме служебных часов, почти в затворе, этот человек еженедельно по воскресным дням, в сумерки, когда главная улица Наровчата кишит гуляющими молодыми людьми из реального училища, из почтовой конторы, из женской гимназии и различных магазинов, появляется в центре города. Он проносится стремительно из одного конца улицы в другой, идя по мостовой вблизи тротуара, наклонясь верхней частью корпуса значительно вперед и заложив руки за спину. Надо видеть в такие минуты Афанасия Сергеевича! Взгляд его черных глаз горит, черты благородного лица исполнены твердости, поступь как бы надземна, вся фигура его замечательна. Одет он в этот час совершенно так же, как одевался поэт Александр Сергеевич, — в шинели николаевской моды, с крылатою накидкой до пояса, в твердой высокой шляпе. Проходит он всего один раз мимо гуляющей публики в трепещущей от быстроты движений черной крылатке, развеваемой иногда ветром, и всем своим образом напоминает прославленного поэта, если позволительно так выразиться — прямо мистично. И тогда навстречу ему и следом за ним из сотен, а может быть, и тысяч уст несется слово:

— Пушкин, Пушкин, Пушкин!

Одни произносят это имя насмешливо, другие с озорством, третьи даже восторженно, что легко объяснить тем, что город наш невелик и достопримечательностей в нем мало, почему многие, выросшие здесь, очень гордятся Афанасием Сергеевичем. Нередко позади него, едва ус-

певая за скоростью его шагов, бегут мальчишки, оглашая улицу все теми же криками:

— Пушкин, Пушкин!

Афанасий Сергеевич мчится своей дорогой, не обращая ни на что внимания. Случалось, что какой-нибудь сослуживец Афанасия Сергеевича по конторе товарной станции, из желания поиздеваться над своим товарищем, закричит ему вдогонку: «Афоня, пойдем раздавим пару пива!» — или что-нибудь подобное. Но Афанасий Сергеевич уже исчез в конце главной улицы и пробирается к дому Вакурова окольными, нимало не освещенными путями.

От своего правила показываться в таком виде в городе каждое воскресенье в один и тот же час Афанасий Сергеевич не отступал и после революции. Гуляний на главной улице за последние два года совсем не стало, вид ее уныл и пустынен, юношество рассеяно по республике войною и прочими бедствиями, появление в городе молодых девушек уже не доставляет никому развлечения, и они прекратили это занятие. Вообще мирская жизнь приблизилась по внешности к монашеской, хотя монастыри не пользуются у мирян прежним благоволением. Но, несмотря на упадок городской жизни, как бы не замечая его, Афанасий Сергеевич Пушкин, все так же чудесно похожий на славного своего двойника, продолжает совершать по воскресным дням мечтательные прогулки по главной улице.

Вчера вечером, пробираясь к земельному комиссару Роктову, чтобы осведомиться о городских новостях, я повстречался с Антипом Грустным. Безлюдие в городе было полное, и я узнал нашего поэта издалека. Очертание его было более примечательно, чем обыкновенно, словно бы он падал ничком и торопился подставить под наклоненное вперед туловище короткие ножки, которые за ним не поспевали.

— Здравствуй, Игнатий, — сказал он, тряся мне руку, — что поделываешь?

— По-старому, — ответил я.

— А я погружен в творчество! — воскликнул Антип Грустный, не выпуская моей руки. — Написал нынче ночью торжественный гимн, очень удалось. Под утро я чуть не разрыдался. Вот послушай, как кончается:

А мы идем.
Мы все идем,
Идем, идем,
Идем, идем!

Напоминает колокольный призыв, набат такой, понял? Бегу сейчас в редакцию, хочу поместить воззвание ко всем композиторам республики, чтобы, знаешь ли, изобразили мой гимн в музыке.

Антип Грустный передохнул, вытер губы и воскликнул с новой силой:
— Ах, Игнатий! Творчество! Что за упоительная и бескрайняя...

Но тут произошло обстоятельство, которое прервало течение нашего разговора. Антип Грустный вдруг содрогнулся и вперил свои глаза куда-то через мое плечо, привстав на цыпочки. Я обернулся и увидел стремительно шагавшего Афанасия Сергеевича. Он мчался прямо на нас, не в пример своему обычаю — по пустынному тротуару, а не по мостовой. Вид его был вполне обыкновенен для воскресного дня. Но этот вид подействовал на Антипа Грустного, как красный плащ на разъяренного быка. Всегда довольно медлительный, Антип Грустный рванулся в сторону и преградил Афанасию Сергеевичу дорогу.

— Стой, стой, — крикнул он, хватая его за крылатку, — стой!

Волнение Антипа Грустного, его жестокий окрик и вся неожиданность сцены, вероятно, испугали Афанасия Сергеевича, и я видел, как его лицо покрылось смертной бледностью. Он стоял неподвижно. Боже, до чего велико было в эту минуту роковое сходство нашего Пушкина с его усопшим однофамильцем! Я не мог оторваться от его лица. Между тем Антип Грустный вцепился крепко в крылатку Афанасия Сергеевича и, не в силах выговорить ни слова от необъяснимого гнева, рычал, подобно дикому зверю.

— Наконец-то ты мне попался, презренный авантюрист! — расслышал я чуть внятные сквозь рычание слова Антипа Грустного.

Он приблизил свое искаженное лицо к лицу Афанасия Сергеевича и вытаращил глаза.

— Молчи! — крикнул он на всю улицу, хотя жертва его непонятого исступления не думала что-либо произнести.

— Да знаешь ли ты, кто с тобой говорит, несчастный? — дрожа и потопывая ножками, спросил Антип. — С тобой говорит народный поэт Антип Грустный, который написал много разных стихов и большой неувыдаемый гимн! Меня на музыку будут перекладывать! Моими словами великий народ высказет свои думы и заветные мечты! А ты что? Ты за всю жизнь ни одного стишка не написал, ничтожность! Как же ты вправе трепать по улицам облик знаменитости Пушкина? Как ты смеешь напоминать своей мерзкой рожей всеми уважаемое лицо стихотворца? Стыд и позор тебе!

Антип Грустный, опять зарывчав малопонятное, начал трясти Афанасия Сергеевича так сильно, что у того запрыгала шляпа. Я же всматривал-

ся с болью в страдальческое выражение незабываемых черт Афанасия Сергеевича, не находя в себе сил побороть растерянность. И вдруг я заметил на глазах несчастного две крупных, готовых упасть слезы. Он как бы отсутствовал из действительности, созерцая нечто несказанно печальное и только телом своим отзываясь на тряску, которой подвергал его иступленный Антип. Сердце мое сжалось. Я поднял руку, чтобы вмешаться в бессмысленное дело, но Афанасий Сергеевич неожиданно вырвался из рук мучителя, повернулся и побежал туда, откуда шел.

Вскоре сумерки скрыли раззевавшуюся от быстрого бега черную крылатку. Я подумал, что, может быть, впервые за всю жизнь Афанасий Сергеевич Пушкин изменил свой маршрут и не дошел до конца главной улицы.

Не взглянув на Антипа Грустного, дышавшего тяжело, и не сказав ему ничего, я пошел за угол своей дорогой.

Я застал земельного комиссара Роктова на грядках около дома, в котором он проживает с давних лет. В вечерней темноте он собирал на ощупь огурцы. Я разглядел его, когда мы вошли в горницу и он зажег лампу. Комиссар был в ситцевой рубахе, заправленной в штаны. Живот его стал еще больше, глаза... но что я могу сказать о глазах земельного комиссара Роктова? В прежние времена по престольным праздникам у нас в монастыре случалось великое скопление уродов, и я повидал множество человекопротивных глаз. Однако столь омерзительного взгляда, как у Роктова, не запомню. Глаза у него не больше, думаю, чем у вороны, и такого же непроницаемого цвета, обведенные на самую малость кружочком белка. И это в то время, как другие части лица его более нежели крупны, а нос — так тот даже огромен. С тех пор как я имел с комиссаром свидание по поводу монастырского бычка, он потучнел весьма значительно.

— Ну что, блаженный? — спросил он, между тем как глаза его смотрели как будто на меня, а как будто и не на меня: совершенно как у птицы.

— Скоро бросишь обитель? Брось. Все одно — рясник да не монах, терять тебе нечего. А монастырь разгонят. Полегоныч, помаленьку.

— Слухи разве какие есть? — спросил я.

— Слухов нет. Известно, что вас скоро уплотнят. Лазарет у вас будет.

— Как так — лазарет?

— Не каркай, — ответствовал комиссар, — ты где живешь, в чьем государстве? Разве тебе неизвестно, что вокруг деется? Почему ты до сего часу не в Красной Армии, лодырь?

— По причине плоской ступни, — возразил я, — освобожден за негодностью. Однако верно ли вы говорите насчет лазарета?

— А тебе какое дело? На-ка, выпей, — сказал комиссар, наливая темной жидкости из четверти в стакан. — Не хочешь? Зря дорожишься, все одно к этому придешь.

Он перелил в рот, точно в воронку, содержимое стакана так, что я не заметил, чтобы он хоть раз глотнул, затем покачался немного, закусил огурцом и осипшим голосом продолжал:

— Не могу взять в толк, что за напиток? Прислали из губернии для борьбы с вредителем. Крепкий. Хотя по ночам сильно блюешь, но голову держит в тумане. Ты вот что, приходи завтра к Симфориану, поговорим. Я тебе и про лазарет скажу, и про председателя — лютей! А теперь — пошел! Мне надо ложиться, сейчас рвать начнет. Ступай, ступай!

Он вытолкал меня, и я очутился на огороде.

Ввиду наступившего ночного часа я пошел не прямым путем, а по главной улице. Проходя мимо флигеля, в котором жительствоет новый председатель Совета, я остановился у окна. Оно было завешено белой материей, сквозь занавесь светилась лампа, и я различил неподвижную человеческую тень в комнате. Наровчат наполовину уже опочил. Только в тоске подвывали собаки, и хотя я по природе не боязлив, мне стало не по себе пред лицом тени неизвестного человека на занавеси окна. Тут чей-то голос придушенно раздался за моей спиной:

— То-ва-рищ Игна-тий!

Я оглянулся. Никого подле меня или где-либо поодаль не было. Я почувствовал трясение в коленях и побежал, творя молитву.

Сообщив отцу Рафаилу о намерении властей разместить в монастыре военный лазарет, я поверг его в тягчайшую заботу. Он опустил пред аналоем и прочитал благоговейно псалом Давидов: «Господи! Долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов — одинокую мою...»

Я положил три земных поклона и ждал, что скажет настоятель.

— И один волос не упадет с главы без его воли, — произнес он, вздохнув. — А ты, Игнатий, свершай назначенное тебе: ступай и не возвращайся, доколе не узнаешь с точностью, какая беда ожидает нашу обитель.

После того я собрал в узелок пищу и отправился в город.

Там повстречал я мать казначею наровчатского женского монастыря. И тут я с ясностью уразумел всю необходимость постоянного прикосновения к мирским событиям текущего смутного времени. Оказывается, вот

уже третий день благочестивые миряне Наровчата и причты городских церквей взволнованы несправедливостью, содеянной над нашими христоролюбивыми сестрами. По рассказу матери казначеи обстоятельства происшествия рисуются следующим образом.

В городском сосновом парке, что возле спиртового склада, военные власти соорудили летний открытый театр для воинов Красной Армии и простого народа. Парк очень велик пространством, и в театральные перемены зрители расходятся по отдаленным дорожкам и даже по глухим местам, преимущественно парно, то есть мужчины с женщинами, что — по словам матери казначеи — особенно усугубляет трудность собрать народ к продолжению театра. Приходилось посылать людей во все концы парка с колокольцами, трещотками или просто крикунов, чтобы они созывали отвлекшуюся от представления публику. Из такого положения проистекало много неудобств для хода зрелища, и актеры придумали водрузить на особом столбе перед театром громкозвучный колокол.

Начальник наровчатского красного войска, в просторечии — военком, к которому актеры обратились за таким колоколом, не думая долго, приказал национализировать один колокол с колокольни женского монастыря. Так как в монастыре квартирует гарнизонная полурота, то дело за исполнением приказа начальника не стало. Четвертого дня, явившись в монастырь как бы по служебному делу, воины Красной Армии сняли со звонницы альтовый колокол весом в два с половиною пуда и отвезли на двуколке в парк.

Этим неслыханным деянием не только причинено разорение монастырской казне, но нанесен вред самой нетленной красоте, гармонии колокольной гаммы, нарушенной изъятием неизъемлемого тона.

В день национализации колокола мать казначея поспешила к новому секретарю Совета с прошением о возврате монастырю его собственности. Тогда разразилась великая пря между начальствующими Наровчата, нисколько не утихшая по сей день.

Секретарь Совета отправил военкому бумагу с требованием возвратить монастырю колокол, ибо по смыслу декрета об отделении церкви от государства первая в своих обрядах не утесняется. На эту бумагу военком ответил, что секретарь, обеспокоенный неутеснением церкви, запаматовал-де трудящихся города Наровчата, интересы которых он призван соблюдать и коим надобен громкозвучный колокол для сигнализации в театре. Секретарь возразил на это, что военком обязан был для достижения совершенства в театральной сигнализации согласовать свои действия с отделом юстиции — и тогда не получилось бы беззакония, волнующего граждан. Тогда военком ответил, что он и подчиненные ему воины Крас-

ной Армии не волнуются, что волнуется секретарь, как видно, потому, что ему — секретарю Совета — близки идеалы попов и буржуев. После этого секретарь доложил переписку самому председателю, который приказал позвать к себе военкома для личного объяснения.

Чем дело окончится, сказать невозможно, но в городе только и разговору что о колоколе и даже о том, что скоро все колокола снимут и przeprowadят в Москву, где будто бы так много театров и увеселений, что своих колоколов не хватило и туда везут со всей России. И еще говорят, что военком в полной силе и никогда не пойдет к председателю, хотя все же малая надежда есть, потому что председатель — матрос.

Выслушав рассказ матери казначеи, я значительно оробел. Страшно стало подумать, от каких случайностей зависит религиозная жизнь православных христиан и, может быть, сама история нашей церкви! От робости я не нашел ничего сказать в утешение матери казначеи.

— Вот вам, матушка, довелось по колокольному случаю бывать в присутствиях Совета. Не слышали ли вы там об уплотнении нашего монастыря военным лазаретом? — спросил я.

— Не слышала.

— Не можете ли вы тогда сказать, каков по обращению секретарь, с которым вы говорили, и доступен ли он жалости?

— По обращению, — ответила мать казначея, — он вполне деликатный, но жалости вряд ли доступен. Все, говорит, будет введено в рамки. В какие такие рамки, я — прости господи! — не посмела спросить, но слезы у меня словно рукой сняло.

Я поклонился матери казначее в пояс, и мы расстались.

Как ни старался я разузнать что-нибудь о занимавшем меня деле, никто в городе ничего не мог мне сказать. Так что я уже начал подумывать, не подшутил ли надо мной земельный комиссар Роктов. Но к вечеру я добрался до Симфориана Бесплезного, и у него пришлось удостовериться в печальной истине и, сверх того, пережить чувства, многопамятные на всю мою жизнь.

Едва я приблизился к собственному дому Симфориана, что в Затоне, как до меня донесся шум голосов. Я замедлил шаги, но продолжал подвигаться вперед, уже различая, что шум исходит из сеней Симфорианова дома. Вскоре дверь распахнулась, и я признал в кричавших самого хозяина и бывшего диакона Истукария.

— Я эти твои увертки знаю! — кричал Истукарий. — Ты к чему назвался Бесплезным? Кого ты этим узвить хотел? На что намекаешь,

когда каждому сознательному гражданину известно, что Симфориан — имя означает как раз наоборот — полезный?

— А тебе досадно, досадно, — старался перекричать Симфориан, — досадно, что имя Истукарий вовсе ничего не означает, дегенерат ты этакий!

— От деренегада слышу!

Именно такое искаженное слово прокричал Истукарий, когда Симфориан вытолкал его на волю, взяв за плечи. Я собирался укрыться, чувствуя, что пришел не ко времени, но хозяин заметил меня и втащил в дом, хлопнув сенной дверью перед самым носом бранившегося Истукария.

Еще будучи в сенях, я почувал благовоние, подобное мироуханию плащаницы. Но как только я переступил порог горницы, благовоние это затуманило мою голову едва не до беспамьятства. Причина такого явления была неясна, однако в горнице благовоние напомнило мне скорее душистое мыло для туалета, чем мироуханные масти. На столе я увидел стаканы с молоком и очищенный вареный картофель в тарелке. В комнате, кроме хозяина, находился земельный комиссар Роктов. Он сидел, выпятив поверх брюк свое чрево, прикрытое ситцем, и зажмурил глаза. В соседней комнате, проходя, я различил в уголке супругу Симфориана — бывшую матушку Авдотью Ивановну. Больше в доме никого не было.

— Выгнал? — спросил Роктов, отчего живот его дрогнул.

— Прогнал, — сказал Симфориан, пододвигая мне стул и садясь сам. Лицо его блестело от поту, взор был мутен и блуждал мрачно. Он обратился ко мне: — Истукарий пришел меня нравственной чистоте обучать, видишь ли. Зачем, говорит, я в «Эльдорадо» девочек гулять вожу, это, говорит, оскорбляет раскрепощенное сознание моей жены. А та, дура, конечно, в рев — обидно! Мне, говорит Истукарий, следует с женой развестись, а не угнетать ее своим распутством. У него по столу разводов безработица, боится начальства, канала! Потянут за бездеятельность! А может, и впрямь развестись, а? Дуня, — закричал Симфориан, — Дуняша, хочешь завтра развод? Не реви, распустила нюни!

— Я пришел за справочкой, — начал я, опасаясь возможных неприятностей.

— Насчет лазарета, — сказал Роктов, — и пускай уходит: я хочу одиночества.

Мне показалось, что земельный комиссар говорил во сне, потому что глаз его вовсе не стало видно и голова валилась на плечо. Я встал, но Симфориан усадил меня снова.

— Ну, пускай остается, — сквозь сон пробормотал Роктов, — я общество люблю.

Вдруг он дернулся, открыл глаза и стукнул обеими руками по столу, так что картошка посыпалась с тарелки в разные стороны.

— Давай! — прохрипел он, наваливаясь на стол.

— Давай! — отозвался Симфориан.

Тут я сделался свидетелем человеческого умопомрачения. Симфориан и Роктов поднялись и взяли стаканы с молоком. Потом они крепко зажали пальцами носы, зажмурились и мигом опрокинули содержимое стаканов в широко раскрытые рты. После того поспешно выдохнули из себя воздух, набрали заново, опять выдохнули, и так раз до пяти. Видно, напиток был очень крепок, потому что Симфориан корчился, точно проглотив пригоршню живых червей и ощущая во внутренностях шевеленье, а у Роктова запало чрево, как от удара. Наконец оба они отошли и принялись за картошку.

Симфориан вспомнил Истукария:

— Поди когда надо было поступать на службу, в ноги кланялся, чтобы я его преданность удостоверил. Как прикажете быть, если в человеке нет благодарности?

— Никакой, — согласился Роктов и продолжал: — Обидно проявлять активность. В прежнее время, когда я в управе городским садоводом состоял, вот были люди! Как сейчас помню, вратил я в полбутылочку огурец. Получилось, будто положен в полбутылочку огурец, а как положен — неизвестно, вынуть его ни-ни! Чудо! Преподнес его офицерскому собранию. Мне за это благодарность приказом объявили. А нынче что? Ну, обсадил я резедою могилу нашей жертвы на бульваре, вензелями пустил, с серпом с молотом, с лозунгами. И хоть бы кто икнул! Ни мур-мур! Руки опускаются!

— Ты насчет лазарета? — спросил меня Симфориан. — Лазарет у вас будет, верно.

— Неужели не окажут снисхождения? — воскликнул я. — И к какому начальству следует обратиться, присоветуйте, ради господ!

Симфориан взглянул на меня столь мрачно, что я прикусил язык.

— Обращайся куда знаешь. Я для вашего брата пальцем о палец не ударю. Нету мне на земле спокойной жизни, покуда не перевелись святые! Не люблю святых!

Он вдруг рванул себя за ворот и прокричал страшно:

— Ой, тоска, тоска! Целый город людей, и ни единой живой души! Куда ни глянь — все рыла! Может, один человек, один-единственный на весь Наровчат, да и тому нет места, затравили!

— О ком говоришь? — спросил Роктов.

— Не о тебе, ты тоже — рыло!

— Согласен, — сказал Роктов.

— Единственный человек в Наровчате — Пушкин, — прочувственно объявил Симфориан.

— Этот — просто дурак, — отвечал Роктов.

— Дурак? — Симфориан вскопился от негодования. — Дурак? Эх, что с тобой говорить! Игнатий, разве Пушкин — дурак?

— Я не считаю Афанасия Сергеевича глупым человеком, — сказал я, — мне кажется, в нем сильная игра воображения.

— Вот — слово: воображение! Единственный в Наровчате человек с воображением, человек, а не рыло!

— Что же Афанасию Сергеевичу угрожает, что вы говорите, будто бы ему нет места? — спросил я.

— А вот что, — сказал Симфориан и достал из кармана записную книжечку. — Я, братец, газетчик, у меня здесь все есть, — показал он на книжечку. — Я в человеческом общезнании, как губка в воде. Вчера я копию с одной бумаги записал, слушай:

«Гражданину Афанасию Сергеевичу Пушкину,
в дом бывший Вакурова.

Предписываю вам с получением сего немедленно оставить появление в городе в несвойственном виде, т. е. в одежде писателя Пушкина, и тем вводить в злостное заблуждение честных граждан и вообще прекратить обман пролетариата. В случае неподчинения приму зависящие меры.

Начальник Наровчатской гормилиции
Макарушкин».

Прочитав, Симфориан с рычанием забегал по комнате, грозя кулаками. Потом хлопнул по спине Роктова, успевшего задремать, и кинулся к комоду. Оттуда он вынул флакон и показал его Роктову со словами:

— Ну, тройного, что ли?

— Давай, — всколыхнулся Роктов и опять ударил обеими руками по столу.

И тут открылся для меня секрет непонятного напитка. Флакон, который был вынут из комода, оказался наполненным цветочным одеколоном. Симфориан налил стаканы наполовину, добавил воды. Жидкость сделалась молочно-белой.

Я не мог смотреть на то, как пили приятели, зажав носы. Я только слышал страшное кряхтенье и, закрывая лицо руками, ждал, когда все кончится. Как только стихло, я осмелился взглянуть на Симфориана и опять закрылся от страха. На лбу его взбухли синие жилы, рот исказился, глаза налились кровью. Вдруг раздался шум и стук: Симфориан в гневе отметнул от себя стул.

— Что ты корчишься? — закричал он на меня. — Точно от дьяволова наваждения! Небось не сгину! У-ух, не люблю святых, жизни мне нет, покуда они не вывелись! Сам был святым, сам попа ломал, не люблю! Роктыч, Роктыч, — завопил он, — давай выводить святых, давай стрелять!

Я вскочил и, осенив себя крестом, отбежал к печке.

Симфориан подошел к кровати, достал из-под матраса револьвер, поднял стул, сел посреди комнаты. Я взглянул с последней надеждой на Роктова: он спал сидя. Я заткнул уши и ожидал. Тогда только я уразумел, на какое дело поднималась рука ослепленного безумца. В переднем углу висела икона десяти мучеников критских — известный образ греческого письма. В святые лики мучеников и целил Симфориан. Боже мой, Господи, за какое злодейство наказал ты меня, окаянного раба твоего, ниспослав такое испытание недостойному моему духу? Я хотел крикнуть, но голос отняло у меня; я попытался двинуться, чтобы отвести руку святотатца, но ноги мои не повиновались мне.

Между тем Симфориан, ухватив левой рукою запястье правой и держа в последней оружие, прищурился и возгласил по-церковному, что у него как бывшего иерея получилось внушительно:

— Иже во святых отец наших мученика Агафопуса...

Весь дом вздрогнул. Я видел, как от сотрясения воздуха погасла и опять зажглась лампа, потом дерзнул поднять глаза на поруганную святыню. Один из десяти мученических ликов был пробит пулею, и вокруг того места лак на иконе обсыпался.

Тогда я, как бы вырванный невидимой силой из неподвижности, бросился к выходу. Но в дверях стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна. Бледная, как плат, она протягивала дрожащие руки к мужу, безмолвно взывая к его благоразумию. Взглянув на меня, она умоляюще прошептала:

— Машеньку испугает он до смерти, Машенька — дочка — спит на печи. Я обернулся к Симфориану, но свирепость его отшатнула меня.

— Уйди! — крикнул он и, поднимая оружие, возгласил: — Иже во святых отец...

Авдотья Ивановна всплеснула руками и закачалась. У меня перевернулось сердце от жалости. Я взял Авдотью Ивановну под руку и отвел к кровати, на кухню. Там она, плача, опустилась на постель. Я в растерянно-

сти смотрел на нее, не зная, чем помочь. Она же убивалась горько, ломая руки. Волосы ее развязались и скатывались по спине, шаль упала до пояса, и я увидел, что Авдотья Ивановна была вполне готова ко сну, но от горя совершенно забыла о виде своей одежды. Тут смешались мои чувства, потому что сострадание толкало меня утешить несчастную, но в подобном положении и столь близко видел я женщину в первый раз от своего младенчества. Не только белые плечи ее, накрытые волосом, но и самые груди находились перед моими глазами. Не помню, какую молитву совершил я про себя. Только почудилось мне, что Господь пощадит непорочную мою юность, и в тот же краткий миг обрел я в себе новую силу для христианского участия в Авдотье Ивановне. Я положил руки на ее плечи и приготовился сказать утешение, когда из горницы послышался голос Симфориана:

— ..отец наших мученика Помпия...

Выстрел был оглушителен. От страшного испуга у меня подогнулись ноги и лицо мое само собой очутилось на груди Авдотьи Ивановны, а руки, положенные ранее на ее плечи, крепко держались за них, противу моей воли. Господи, смилуйся надо мной, многогрешным! Не помня себя, я лобызал грудь Авдотьи Ивановны, и в памяти моей ничего, кроме великого жара, не сохранилось.

Как я выбежал из Симфорианова дома — неизвестно. В голове моей стоял звон, от оглушения ли стрельбой, или от чего другого — перед истинным Богом, — не знаю.

Предшествующее описание я закончил рано поутру, когда рассвело. Дыхание мое теснила непонятная тяжесть. Я раскрыл окно. День зачинался обычной своей торжественной утреней. Пели птицы, ветерок раскачивал деревья, за стеною от речки Гордоты подымался туман. Я готов был разрыдаться — так тяжело было мне видеть спокойствие природы, когда душа моя мучилась греховным волнением. Вдруг до слуха моего донесся страдающий голос:

— Мятешься, Игнатий?

Я выглянул в окно. Отец Рафаил, совершая утреннюю прогулку, оставившись у моей келии. Я опустил голову и проговорил с трудом:

— Мятусь, отец Рафаил.

Он ничего не сказал, глубоко вздохнул и удалился. А я упал на свою койку и плакал.

Нынче в городе большое смятение, как бы случилось что-нибудь государственной важности. Действительно, убедившись в слухах, я понял,

что произошло событие, а именно: исчез неизвестно куда Афанасий Сергеевич Пушкин. Исчезновение обнаружено было жителями вакуровского дома и подтвердилось на товарной станции служебным начальством конторы. Шел третий день с тех пор, как последний раз видели Афанасия Сергеевича. Я поспешил к дому Вакурова. Народ стекался туда в большом числе, несмотря на будний день, так что образовалась толпа. Скоро прибыли чины городской милиции во главе с начальником Макарушкиным. Должны были произвести вскрытие жилища Афанасия Сергеевича. И вот народ затаил дыхание, глядя, как начальство, в сопровождении понятых, взбиралось по навесным лесенкам и площадкам громадного строения. Наконец Макарушкин достиг последней двери верхнего этажа, и другие чины обступили своего начальника. Через минуту раздался стук падения сорванного замка на чугунную площадку. Дверь открылась и поглотила людей. Все, стоявшие вокруг меня, ожидали самого ужасного, и минуты тянулись для нас бесконечно долго. Но вот начальство опять появилось на площадке, и погода мы узнали, что в жилище Афанасия Сергеевича ничего не обнаружено. Макарушкин дал распоряжение опечатать дверь, но печати и сургуча не оказалось, и все начальство отбыло в город, препоручив наблюдение за имуществом Афанасия Сергеевича понятным. Последние по мягкосердечию и бессознательности, а вероятно и просто со скуки, начали допускать любопытных в охраняемое помещение, и таким путем я имел случай осмотреть жилище Афанасия Сергеевича.

Чувство, какое я испытывал при этом осмотре, не могу назвать иначе как умилением, хотя многие из бывших со мною горожан смеялись. Жилище Афанасия Сергеевича состоит всего из одной комнаты, заполненной вещественными напоминаниями о жизни и творениях Александра Сергеевича Пушкина. Стены увешаны снимками с известных изображений прославленного поэта, картинами к его сочинениям, полкою со всевозможных о нем книгами.

Не говоря о нашем монастырском книгохранилище, даже в светской библиотеке Наровчата не найдется такого тщательного подбора произведений о Пушкине. На всякой мелочи в этой комнате лежит отпечаток любовной руки почитателя поэта. Из других предметов скромного обиталища внимание мое остановило большое, в пышной раме зеркало, в котором Афанасий Сергеевич мог видеть себя во весь рост.

Я покинул опустевшее жилище с такой грустью, как если бы бросил на произвол сироту. Моя личная печаль уступила место тревоге за судьбу Афанасия Сергеевича, и я молил Господа оградить его от греха.

Пока я находился с толпою около дома Вакурова, меня разыскивали в монастыре. В самом деле, уйти, не сказавшись, в такое время, когда с минуты на минуту могло разразиться над монастырем несчастье, было легкомыслием немалым! Войдя в келию отца Рафаила, я застал его готовым к походу.

— Пойдем, — строго сказал он и вышел, не удостоив меня благословения.

Лошадей у нас давно отобрали, и это был первый после революции поход отца Рафаила в город. Он шествовал молча, опираясь на посох и по уставу не подымая глаз от земли. Я следовал за ним в трех шагах и чем более вглядывался в его величественную и одновременно смиренную поступь, тем явственнее чувствовал, что этим человеком руководит некая бескорыстная решимость. И тогда внезапно меня обуял стыд за свою суетность и за все свое ничтожное существо. Но непонятность намерений отца Рафаила и его безмолвие беспокоили меня выше меры, так что боль стыда скоро во мне утихла, и я осмелился спросить:

— Куда направляетесь, отец Рафаил, ваши стопы?

Но настоятель продолжал молчать.

И так дошли мы до главной улицы и до бывшей управы, где ныне помещался Совет. Тут отец Рафаил остановился, осенил себя крестом, как перед входом во храм, и знаком руки велел мне открыть дверь.

Я повиновался с замиранием сердца, не предвидя ничего доброго в последующем. Между тем отец Рафаил с прежней покойной решимостью проследовал по лестнице и коридору и, встретив служителя, спросил, где можно говорить с товарищем секретарем Совета. Тот отвечал, что надлежит подождать, пока секретарь придет, и отвел нас в его приемную. Там никого не было. Отец Рафаил опустился посреди комнаты на колени, лицом ко входу, и велел сделать мне то же, указав место рядом с собою. Я исполнил приказание. Тогда отец Рафаил сказал:

— Ложись, — и сам пал ниц.

Я лег, и так мы лежали короткое время в тишине, головами к открытой двери, как бы в покаянии. Потом раздались поспешные и громкие шаги, кто-то вошел в приемную и сразу остановился.

— Что это? — расслышали мы недоуменный возглас. — Что это такое?

Затем наступила пауза, после которой тот же голос, но заметно повысившись, опять спросил:

— Кто это? Зачем вы здесь?! Что за...

Тогда отец Рафаил, не шевельнувшись, с мольбою произнес:

— Не подыдемся, доколе не внемлешь.

На что опять тот же голос, подкрепленный ударом ноги об пол, отвечал грозно:

— Встать, встать, немедленно встать!

— Не подыдемся, доколе...

— Встать, говорю, встать!

И так пошло: отец Рафаил, не двигаясь, настаивал, чтоб его выслушали, а неизвестный, топавший у наших голов башмаками, не унимался и кричал, чтобы мы встали. Потом он заявил решительно:

— Я не скажу с вами ни слова, пока вы валяетесь на полу, — и выбежал, крича на весь дом: — Кто их пустил сюда, черт подери! (Да проститесь мне это черное слово, записанное лишь ради одной истины.)

Отец Рафаил и я продолжали неподвижно лежать, когда кто-то подошел к нам и толкнул по очереди сапогом довольно чувствительно:

— Ладно прикидываться, подымайтесь, не то подыдем силком!

Делать было нечего, и отец Рафаил, поднявшись, велел мне встать. Тогда в приемную возвратился секретарь Совета, и я по голосу узнал, что это он на нас кричал и топал ногами. Однако в лице его я не только не заметил свирепости или гнева, но даже показалось мне, что он легонько улыбается, хотя чему приписать улыбку в таком серьезном положении, я не мог понять и подумал, что это у него от природы.

Отец Рафаил рассказал секретарю, что, по частным сведениям, власти предполагают поместить в монастыре лазарет и что такое действие равнозначит полному закрытию обители, так как монастырь и без того стеснен до предела детской больницей с приютом, называемым интернатом. Секретарь выслушал доводы отца настоятеля со вниманием и отвечал кратко:

— Отправляйтесь к себе, я у вас буду и сам осмотрю помещения.

Мы поклонились в пояс и покинули Совет обнадеженные, так что отец Рафаил сказал мне:

— Сразу видно человека по обращению: кричал он на нас из совестливости и хорошего воспитания. Бог не без милости...

Напрасны были наши надежды. День, начавшийся с беспокойства, готовил новые испытания. Для меня они были горьки и непосильны, ибо теперь, когда я веду свою запись, неведомые доселе чувства раздирают меня и малодушие мое так велико, что я не в силах даже помолиться. Я призываю все свое мужество, чтобы правдиво описать срам, испытанный мною.

Дело в том, что не успел я с отцом Рафаилом войти в монастырский двор, как нас догнала коляска, из которой выскочил секретарь Совета.

Полная неожиданность приезда ошеломила даже отца настоятеля, и он, как бы приняв секретаря за наваждение, осенил его крестом. На лице того я опять заметил улыбку, и он сказал:

— Ну, покажите мне ваши помещения.

Но у нас ничего не было приготовлено к встрече такого посетителя, а следовало бы предотвратить возможные нечаянности хотя бы простым упреждением братии. Поэтому отец Рафаил, показав рукою на новый корпус, предложил:

— А вот, пожалуй, начнемте с тех строений, которые у нас уже отобрали властями под детский приют, называемый интернатом, и под больницу.

Говоря это, отец настоятель взглядом дал мне понять, чтобы я уведомил братию о прибывшем. Но секретарь вдруг заявил:

— Нет, чего же смотреть на то, что отобрано, давайте посмотрим, что еще не отобрано...

И здесь началось! Только-только мы поднялись на крыльцо, как из корпуса вывалился брат Порфирий с лукошком, полным жареных пирожков, от которых шел пар.

— Это вы что же, на базар? — спросил секретарь.

— Так точно, гражданин, в толкучку, — словно обрадовавшись, рявкнул брат Порфирий, — не желаете ли свеженьких — с яйцами, с пшеном, с ливерочком?..

Отец настоятель отстранил Порфирия с дороги и дал секретарю положительное объяснение.

— Доходов в монастыре почти не стало, братии же нужно поддерживать существование, хотя бы самое нищенское. Отсюда — необычные для монашествующих занятия.

Я поглядел на секретаря, и недоброе предчувствие вселилось в мою душу: быть беде, подумал я, у секретаря улыбочка-то не от природы, а от других качеств.

Отец Рафаил повел его по коридору, открывая по очереди двери и объясняя:

— Вот тут у нас кладовая для хозяйственных предметов, тут келарня, тут орудия для полевых работ — у нас ведь трудовое общество, коммуна, как говорится. А вот тут начинаются келии для братии нашего монастыря...

Он отворил дверь. Келия была пуста, койки не прибраны. Отец Рафаил открыл другую дверь. Здесь тоже было пусто и непорядку — пуще, чем в первой.

— А братия торговать ушла? — спросил секретарь.

— В трудах братия, на разной работе, — отвечал отец Рафаил, подводя секретаря к следующей келии.

Три человека вскочили из-за стола, едва мы показались в дверях. Только одного из них я знал, других видел впервые. Все они были без подрясников и почему-то прятали руки за спины и в карманы. В келии стоял табачный чад. На столе я различил картуз табаку Бостан-жогло. Секретарь быстро подошел к одному из этих людей.

— Вы чем занимаетесь? — спросил он.

— Безработный, — ответил тот.

— Что вы тут делаете? — вмешался отец настоятель.

— Истинный бог, мы не на деньги, отец Рафаил!

— Нет, нет, вы меня верно поняли. Раньше чем занимались? — допытывался секретарь.

— Бакалеей.

— То есть торговали?

— Лавочку держал не бог вещь какую. После разорения не имею средств, стеснен...

Я не мог более глядеть ни на отца Рафаила, поверженного в уныние, ни на картежников и убежал в свою келию.

Боже мой, господи! Что стало из нашей обители? Пристанищем какому люду сделались ее святые стены? И неужели я ослеплен настолько, что не вижу, как на благолепии и святости произросли тлен и нечестие бесовское? Горе мне, горе!

По скором отъезде секретаря Совета отец Рафаил замкнулся и прислал ко мне келаря сказать, чтобы я отправился в женский монастырь и узнал, как обернулось дело с колоколом. Я понял, что наши монастырские обстоятельства после нечаянного визита очень ухудшились, и, как ни подавлен был случившимся, однако превозмог себя и пошел в город.

У матери казначеи меня ожидали утешительные вести. Пря между начальствующими закончилась на вящее посрамление военкома: колокол возвратили монастырю и подвесили на прежнее место силами воинов Красной Армии.

Преисполненные благодарности к секретарю Совета, христоробивые сестры пожелали ознаменовать одержание победы над беззаконием каким-либо вещественным актом. Посему мать казначея обратилась к секретарю с просьбой принять от монастыря для Совета красное знамя, расшитое золотом и позументами, работы благодарных монахинь, послушниц и учениц. На такую просьбу секретарь отвечал, что никаких подно-

шений Совет от монахинь не примет, так как это противно духу новейших законов, но что ежели в монастырских мастерских на красное знамя может быть принят заказ, то Совет заплатит, сколько будет стоить работа. Заказ был, разумеется, принят тотчас же, и мать казначея водила меня в мастерскую, где трудятся над знаменем рукодельницы. Я осмотрел полотнище, растянутое на пьльцах, и пришел в восхищение от искусности вышивки и подбора позументных украшений. Посреди знамени парчовым галуном из золота, каким делают оторочку на дорогом церковном облачении, расшиты слова, полученные на особой бумажечке от секретаря при заказе: «Мы свой, мы новый мир построим!» Кругом этих слов воздушными фигурами идет золототканый газ, по краям же знамени спускается бахрома, и на углах — кисти. Вообще весь вид богатой гражданской хоругви порадовал меня отменно, и я ушел от богоспасаемых сестер растроганный.

Идя по улице и размышляя о том, что сестры избрали благой путь для установления хороших обычаев в общении с мирской властью, я придумывал, что предпринять нашему монастырю, чтобы достичь столь же благоприятных результатов. Следовало бы, думал я, проявить какую-либо услужливость, принести помощь в некотором трудном предприятии власти и вообще показать, что замкнутость наша отнюдь не злонамеренна, а лишь по уставу. Занятый подобными мыслями, я был кем-то окликнут по имени. Я поднял глаза, и они тотчас опустились опять сами собою: впереди меня стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна.

— Что не зайдешь? — спросила она, подвигаясь ко мне совсем близко.

— Много хлопот, — ответил я, сгорая от боязни, что Авдотья Ивановна попрекнет меня за недостойное мое поведение в памятный вечер.

— Мой пьет, — продолжала она, и голос ее упал, — а я все одна...

Авдотья Ивановна взяла меня за руку, и лица моего коснулось ее дыхание.

— Зашел бы, — сказала она, — посидеть...

Я решился взглянуть на нее. Стан ее был округл и крепок, тонкое платье на груди колебалось, во взгляде ее мне почудилась насмешка и как бы ласковость.

— Благодарствуйте на приглашение, — проговорил я, раскашлявшись, так как в горле моем образовалась сухость. — Мне пора...

Авдотья Ивановна необыкновенно сжала мне руку и крикнула вслед, когда я уже отошел на много шагов:

— Так ты приходи!..

Достигнув монастыря почти бегом, я стал искать себе успокоения, чтобы хоть кратко доложить отцу Рафаилу о деле с колоколом и о том,

что из него проистекло. Я прохаживался и сидел на берегу Гордаты в надежде на целебное свойство природы, беседовал с приютскими детьми, чтобы развлечься, тщетно начинал молиться. Спокойствие не возвращалось мне. К великому моему счастью, отец Рафаил не пожелал меня видеть, и я остался наедине с собой в тихой своей келии.

Мысли мои мешались, и я не знал, чего хочу. Происшествия дня заново предстали пред моими глазами: таинственное и бесследное исчезновение Афанасия Сергеевича Пушкина; решимость отца Рафаила, поведшая его на унижение игумнова сана; прибытие в монастырь светской власти, могущее иметь необозримые последствия; наконец, беседа с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной, которая нисколько на меня не разгневалась, чего я пуще всего боялся. Так, терзая себя этими мыслями, я втайне чувствовал, что одна из них превосходней и неотступнее других. Авдотья Ивановна стояла живой подле меня в тишине келии, и я, облитый потом, смотрел на ее платье и видел ее, какою запечатлелась она в моей памяти с незабвенного вечера у Симфориана!

Сейчас, пиша эти строки, я преоборевая свое томленье. Тогда же я бросил с ожесточением тетрадь с хроникой и оплакивал себя, несчастного, и смеялся неведомо чему. Потом схватил лист бумаги и неожиданно, без всякой мысли и без единой пометки, написал впервые в жизни стих. Прочитав его, плакал еще больше и решил непременно показать его Симфориану.

С этой целью, после бессонной ночи, я пошел в редакцию «Наровчатской правды». Там я застал Антипа Грустного, сидевшего на краешке скамьи. Я открыл было рот, чтобы поздороваться, но он погрозил мне пальцем. Я подсел к нему, и он шепнул мне в ухо, показывая на закрытую дверь:

— Тише: там читают мое новое сочинение.

— Кто? — спросил я шепотом.

— Симфориан! Тш-ш-ш!

Мы посидели в неподвижности несколько минут. Потом дверь шумно раскрылась, и к нам вышел Симфориан. Он протянул Антипу рукопись и сказал кратко:

— Хлам.

Антип бережно сложил потрепанные листки бумаги, спрятал их за пазуху и робко проговорил:

— У меня есть еще одно произведение..

Но Симфориан не дал ему договорить:

— Не надо мне твоих произведений, сделай милость!

После этих слов Антип беззвучно удалился, а Симфориан спросил меня:

— Ну а ты что? Тоже навараксал какое-нибудь произведение?

Услышав это, я тотчас решил ни за что не показывать своего стиха; к тому же страшная мысль пришла мне на ум: Симфориан непременно должен догадаться, что это его супруга, Авдотья Ивановна, вдохновила меня на сочинение.

— Стихи, что ли, написал? — спросил Симфориан.

— Да, действительно, но только мне стыдно показать, потому что это со мной первый раз...

— Брось ты это дело, — присоветовал Симфориан, кладя на мое плечо руку, — пиши, брат, по специальности.

— Как же так? — не понимая, спросил я...

— Да ты кто по профессии? — сказал он. — Чернец? Стало, твоя специальность — Божественное бытие. Вот и пиши нам в газету для безбожного отдела...

Я перекрестился и не знал, что сказать. Между тем Симфориан засмеялся и, как видно, нечаянно посмотрел под скамью, на то место, где сидел Антип Грустный. Потом он плюнул и убежал в другую комнату.

Довольный прекращением тягостного для меня разговора, я пошел к выходу, полагая, что Симфориан плюнул с досады, что я перекрестился. Но при этом я сам взглянул под скамью. В том месте, где до того сидел Антип, на полу стояла невеликая лужица. Пожалуй, лужицу оставил Антип от волнения или по болезни, и это, наверно, на нее плюнул Симфориан.

Сегодня, в воскресное утро, когда заблаговестили к обедне, выглянув в окно, я увидел всеобщее беспокойство. Люди выбегали из корпусов, направляясь к задним воротам, приютские дети что-то голосили, пробежал кое-кто из нашей братии. Я вышел на крыльцо узнать, что происходит.

Оказалось, неизвестный труп утопшего человека был за ночь вынесен рекою Гордатою на берег к нашему монастырю.

Вместе с другими братьями и незнакомыми людьми, пришедшими к обедне, я поспешил на берег. Пробираясь к месту происшествия и прислушиваясь к тому, что кругом говорили, я понял, что утопленник никем не может быть опознан. Наконец я растолкал людей и подошел к покойнику. Сердце у меня билось тревожно, и, хотя я творил про себя молитву, мысли мои были неясны. Человек лежал ногами вверх по скату берега, голову к

реке, так что вода омывала длинные волосы утопшего. На его шею наматалась плавучая трава, лицо весьма приметно вспухло.

Как ни приучаем мы себя к мысли о бренности всего сущего, но даже постриженные чернецы и монахи великого подвига не могут видеть смерть с совершенным спокойствием. Я отвел глаза от головы мертвеца и стал осматривать его одежду. Тогда меня бросило в страшную дрожь, и холодный пот выступил на моем лбу. Одежда, прикрывавшая тело несчастного, была известною крылаткою Афанасия Сергеевича Пушкина. Я опять взглянул в лицо усопшего. Не оставалось сомнения: утопленник был не кто иной, как таинственно исчезнувший Афанасий Сергеевич.

Обезображенный насильственной смертью, он все же сохранил черты своего образа, и оспины были видны на его лице, и губы и нос могли принадлежать только ему. Единственно, что помешало скорому опознанию покойного, это волосы. Темно-русых курчавых волос Афанасия Сергеевича как не бывало. С головы Афанасия Сергеевича, вымоченные и распрямленные водою, спустились желтоватые пряди волос, и знаменитые бакенбарды были совершенно рыжи и нимало не курчавы. Подумать только, что этот человек всю жизнь красил волосы, и это должно было обнаружиться столь трагически!

Я закрыл свое лицо руками и побрел в монастырь.
Господи сил, помилуй нас!

Три дня я не мог прийти в себя. Образ Афанасия Сергеевича, лежащего на берегу головою к реке, его потерявшие краску волосы, оmyваемые водою, не отступали от моего мысленного взора. Удел покойника страшил меня.

На четвертый день я вышел из монастыря, чтобы, не дойдя до города, опрометью броситься назад и замкнуться у себя в келии. То, что я узнал, потрясло меня не менее, нежели смерть Афанасия Сергеевича. Именно эта несчастная смерть, однако, вызвала другое великое несчастье: скончался вследствие отравления неизвестным напитком Симфориан Беспольный. Мне не удалось узнать в подробностях, как это случилось, и я записываю только слышанное от других лиц. Известно, что Симфориан приходил в мертвецкую городской больницы проститься с телом Афанасия Сергеевича. После того он пожелал непременно напечатать в газете некролог об усопшем и действительно написал замечательную статью о личности покойного Пушкина. Но в газете над ним насмеялись и поместить статью не захотели, так что Симфориан, в раздражении, поклялся никогда в жизни не брать в руки пера. Потом его видели в нетрезвом

состоянии на улице, а затем стало известно, что, придя домой, он много выпил неизвестной жидкости и скончался без покаяния и причастия.

Я чувствую, что не в силах продолжать ведение хроники с тем тщанием, какое подобает этому полезному делу. Однако я запишу и о других событиях, которые стали мне известны со стороны. По приказу председателя Совета отстранен от обязанностей начальник городской милиции Макарушкин, как рассказывают, за писание бумага, не имеющих смысла. Неизвестно, разумелась ли тут бумага, отправленная Макарушкиным покойному Афанасию Сергеевичу Пушкину, или еще какие-нибудь документы.

Вторая новость: по такому же приказу поведено судебное следствие по делу о неправильном употреблении комиссаром Роктовым жидкости, присланной из губернии для борьбы с вредителями. Опять же не знаю, имеет ли следствие связь с отравлением Симфориана Бесплезного неизвестной жидкостью или нет.

Я заканчиваю свою хронику, когда много успокоился, и в моей жизни намечается некий знаменательный поворот. В те памятные потрясениями дни я был не в состоянии что-либо делать, не говоря о писании хроники. Я день за днем просиживал в своей келии, в замкнутости совершенной и подавленный скорбью. Наконец ко мне постучался и вошел отец Рафаил.

Я испугался не столько его посещения, сколько изменившегося его вида. Он сказал, что строго постился все прошедшие дни, неустанно мысля о предстоящей участи брата и моля Господа упасти обитель от всякия скверны. Потом отец Рафаил сказал мне:

— И твоя печаль не укрылась от меня, Игнатий. В рассуждении о будущем я пришел к решению не мешать тебе выбрать путь по своей воле. У тебя всегда были склонности к мирской деятельности. И на нас лежит грех за твою душу: посылая тебя в мир, мы обрекли ее на испытание, непосильное в твои годы. Я вижу, как ты томишься. Если есть на то твоя воля — ступай в мир с миром.

Я поклонился отцу Рафаилу в ноги. Христианская доброта этого человека — источник сил моих до конца дней.

Вскоре я ходил с утешением к бывшей матушке Авдотье Ивановне. Но тут я ничего не могу записать, потому что и подходящих слов подобрать не смею.

Скажу лишь кратко, что, возвращаясь от Авдотьи Ивановны, я приостановился у дома председателя и, как прежде, посмотрел в окно. В ком-

нате горела лампа, но занавесь не была опущена. Председатель сидел, наклонившись над столом, и рассматривал бумаги. Лицо его было худо, но в худобе своей твердо и решительно.

На этот раз я не испытывал никакого страха и пошел своей дорогой, думая, что мне предстоит в дальнейшем. На душе у меня пели небесные птицы.

На будущей неделе в среду я с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной отправляюсь к бывшему диакону Истукарию в отдел записей актов гражданского состояния.

1924—1925

Константин Федин

Наровчатская хроника

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*

Редактор *Н. Роговин*

Художественный редактор *Е. Поляков*

Корректор *И. Яковенко*

Компьютерная верстка *В. Круглова*

Подписано в печать 28.08.08 г.

Формат 70x108 ¹/₃₂. Бумага газетная.

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.

Тираж 48 000 экз. Заказ № 0809000.

ТЕРРА—Книжный клуб.

127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Народная библиотека «Огонька»

С 1 июля в каждом отделении Почты
открыта подписка на следующие издания:

Универсальный словарь: В 4 томах	1390 р.	Кассиль А. Собрание сочинений: В 5 томах	1400 р.
Большая Энциклопедия «Терра»: В 62 томах	74400 р.	Колетт С.-Г. Собрание сочинений: В 7 томах	1274 р.
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 86 полутомах	68000 р.	Кристи А. Собрание сочинений: В 13 томах	1885 р.
Популярная Энциклопедия: В 20 томах	6200 р.	Манн Т. Собрание сочинений: В 8 томах	2240 р.
Детская Энциклопедия: В 10 томах	4620 р.	Мериме П. Собрание сочинений: В 5 томах	1250 р.
Энциклопедия «Великий час океанов»: В 5 томах	2250 р.	Монтень М. Опыты: В 3 книгах	890 р.
Андерсен Х.-К. Собрание сочинений: В 4 томах	1520 р.	Моруа А. Собрание сочинений: В 10 томах	2580 р.
Библиотека античной литературы: В 10 томах	3200 р.	Песков В. Сочинения: В 9 томах	2520 р.
Блок А. Собрание сочинений: В 6 томах	1280 р.	Похлебкин В. Сочинения: В 6 томах	1450 р.
Бунин И. Собрание сочинений: В 9 томах	1830 р.	Родари Дж. Собрание сочинений: В 4 томах	1220 р.
Буссенар А. Собрание сочинений: В 10 томах	2710 р.	Софья де Сегюр. Собрание сочинений: В 5 томах	1275 р.
Волков А. Собрание сочинений: В 4 томах	860 р.	Соловьев Вс. Собрание сочинений: В 9 томах	2080 р.
Гарт Б. Собрание сочинений: В 6 томах	1560 р.	Тэффи. Собрание сочинений: В 5 томах	905 р.
Герцен А. Избранные произведения: В 5 томах	1255 р.	Уэдсли О. Собрание сочинений: В 6 томах	1308 р.
Гоголь Н. Собрание сочинений: В 7 томах	1610 р.	Флеминг Я. Собрание сочинений: В 7 томах	1540 р.
Гранин Д. Собрание сочинений: В 5 томах	1075 р.	Фолкнер У. Собрание сочинений: В 6 томах	1194 р.
Грин А. Собрание сочинений: В 6 томах	1242 р.	Хаггард Г. Р. Собрание сочинений: В 12 томах	2880 р.
Диккенс Ч. Собрание сочинений: В 20 томах	4200 р.	Чарская Л. Собрание сочинений: В 5 томах	910 р.
Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 томах	1500 р.	Чуковский К. Собрание сочинений: В 5 томах	1025 р.
Ефремов И. Собрание сочинений: В 8 томах	2160 р.	Ян В. Собрание сочинений: В 5 томах	1310 р.